

ЕЛЕНА КРЮКОВА

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

роман

КНИГА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Москва

2014

ББК 84 (2 Рос-Рус) 6

К 84

художник Владимир Фуфачев

Крюкова Е. Н.

К 84 Старые фотографии. Роман.

Издательство "Книга По Требованию", Москва, 2014. 542 стр.

ISBN 978-5-518-86307-1

ББК 84 (2Рос-Рус) 6

Старые фотографии. Ушедшие жизни.

Каждому сердцу дороги эти старые снимки, на которых — память рода, сила чувства, слава страны.

Девочка разглядывает фотографии из трех альбомов. Времена меняются местами. Горит ясный и чистый огонь памяти.

Альбом Николая. Альбом Нины. Альбом Маргариты.

Как сплетаются три судьбы? Как они отражаются друг в друге — и в зеркалах безжалостного, но и гордого, честного, славного времени?

Время одной жизни. Время Родины. Они сопоставимы.

От 1920-х до 1960-х годов СССР - временной диапазон книги, счастливо сочетающей эпос и лирику, громкие факты истории и семейную хронику, личные драмы и панораму общества, военные сцены и тайны души.

Чистота без глянца. Любовь среди войны и голода. Радость побед. Беззаветная вера в будущее.

ISBN 978-5-518-86307-1

© Крюкова Е. Н., текст, 2014

© Фуфачев В. И., обложка, 2014

© Книга По Требованию,

издательство, 2014

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ

*мамочка, это мы все в Новый 1953 год
в квартире у Риты.*

*Рита, Марк Вороно, я, Валя, Коля,
Володя Корбаков, акушерка Лена
стоят: Сережа Викулов, Митя Суровцев,
Мишка Волгин, Паша Щепелкин
Евгешу с Яичкой приглашали, но она не пришла*

Коричневое. Сепия. Тьма.

Зернистая грубая бумага.

Или тонкая, ломкая, будто забытое в шкафу печенье.

Или гладкая, глянец блестит под пыльной лампой.

Темные пятна с испода, там, где надпись.

Уголок загнут. Вот-вот отвалится.

По ободу — резная белая рамка, белые мятые старые кружева.

Бойся посмотреть в центр. Что увидишь в сердцевине коричневой тьмы? Лица?

Да, лица. Выступают из разводов сепии, сажи, тумана и мрака, схлоста теней и белых пятен.

Пятна светятся. Свечение над головами.

Миг — и сработал затвор фотоаппарата.

Чем снимали? «Зенитом»? «ФЭДом»?

Неважно. Сняли.

«Замерли все, ребята! Сейчас вылетит птичка!»

«Сделайте так губами: урю-у-у-ук!»

«Нет! Какой урюк! Ты спятил! Лучше: куряга-а-а!»

«Хорош болтать! Замри!»

Разводы и потеки коричневой тьмы, нежной сепии; морозные узоры по карему отпечатку, метель времени — бумага выцвела, и сквозь тьму просвечивает белый вечный снег. Вечная зима. Где все эти люди? Давно в могиле. Под землей, и снег наматает на могилах сугробы, увеличивая посмертный горб в размерах. Поднеси коричневый маленький квадрат ближе к лицу. Вот так. Еще ближе. Ты различаешь глазами время? Ты различаешь его душой? Сердцем слушай его. Оно не обманет тебя. Эти люди не обманут тебя. Они скажут тебе всю правду. Только правду.

Правду о себе и о времени.

Не бойся.

Сделай этот шаг.

Ведь это же так просто.

Просто приложить квадрат старой фотобумаги к лицу. Просто — вдохнуть. Пахнет клеем и шкафным нафталином. Просто зажмуриться. Просто шагнуть. А может, влететь. А может, протянуть к родному лицу лицо и руки, и потянуться, и тихо дотянуться — через коричнево клубящееся пространство: ведь это же стоит твоя мама, вот она, ты можешь войти в эту комнату, где празднуют Новый год, ты можешь войти, войди, переступи, успеи, вернись, не бойся, ты уже вошла.

Тебя не видят. Ты хочешь крикнуть: «Мама!» - но она тебя не знает, это еще не твоя мать. Это просто красивая черноволосая женщина: гладкая прическа, круглый черный шар пучка на затылке, над смуглой высокой шеей. Перед ней на столе, на белой, уже заляпанной едой и вином скатерти, большая хрустальная рюмка: наполовину полна или наполовину отпита? Жизнь только началась. Румяная, смуглая молодая чернушка только вернулась в Вологду из Бурят-Монголии. Там она работала врачом в детском костно-туберкулезном санатории. Сколько горя повидала! Детишки на койках лежат, у кого бедро гниет, у кого щиколотка. Куриные косточки. Цыплячьи грудки. Нина прибегала, цок-цок каблучками, из палаты в докторскую каморку и вминала в лицо надушенный кружевной носовой платочек. Платок кружевами мама обшила. И белье кружевное Ниночке в чемоданчик сложила, и куличи — побаловать - в дорогу испекла, хоть вовсе не Пасха на дворе была, и куличи — от греха - в духовке все примялись, не вспухли, не взошли.

«Деточка, ты за чемоданчиком следи, сопрут!»

Она следила, а когда засыпала на верхней полке, подружка на чемодан старательно глаза таращила. Высоко лежал чемоданище, на третьей полке багажной, но ведь воры ловкие, они все равно залезут. Подруженька. Врачица молоденькая. Лелька Митекина. Беленькая французская булочка. Кто тебя съест, Лелька? Когда? В Ниночку влюбился бурят, главный врач. Угощал ее красной икрой из огромной миски. Втыкал столовую ложку в красную горку и грозно рокотал: «Ешь!»

А то водки полстакана нальет, омуля разрезанного на газете поднесет: «Не нравится наше угощение?!» Вращал узкими глазами, скалился, пугал. В кабинет никто не входил. Но ни разу, ни разу он к ней руку... не протянул... и руки его... дрожали... когда закуривал, и курил долго, у форточки стоял, молчал, тьма молчанья сгущалась, и Нина пятилась к двери, уходила, выскальзывала рыбкой в черную дверную щель.

А какие там кедрь... Господи... кедрь...

А когда Нина уехала, Лелька письмо прислала. «Нинка! Я теперь любовница главного. Холугжанов меня на руках носит. Я ему на операциях ассистирую. Он на шов глядит, потом на меня, и рычит, как волк: «Смажьте ебом!» Я ему — чем-чем, Гомбо Цырендоржиевич? Ну, йодом, понятно. Ржут все вокруг! Знаешь, Нинка, я хочу, чтобы он на мне женился! Но у него ведь жена, бурятка, и три бурятенка!»

Рюмки-ножи-вилки, их нестерпимый блеск. Маргарита наготовила еды будь здоров. Как у них в Куйбышеве говорят - на Маланьину свадьбу! Стряпуха Ритка отменная. И чего Николай бежит от такой жены?

Вот он, Коля, по левую руку от Нины. Подливает ей в рюмку вина. Очень, очень сладкое темное вино. «Кюрдамир». Таджикское? Узбекское? Слаще всех узбекский виноград и узбекские дыни. Чарджоуские. Огромные, зеленые, в кракелюрах, дирижабли. Во время войны — сколько узбеков, таджиков и туркмен слонялись по Куйбышеву! Милостыньку просили. У туркмен — поселенье на том берегу Волги. Катаются на верблюдах двугорбых, плывут-качаются в вышине, а жены их малолетние в юртах сидят, с куклами играют. Выбежит из юрты такая чернокосяя женка — а они, девчонки Липатовы, к ней бросятся: скажи, скажи, сколько тебе лет? Она пролепечет: девять. «А правда ты жена?» Правда,

правда, кивает. «А как же ты... с мужем?» Как все, пожимает плечами. Смеется. Монисты на шейке, на смуглой грудке, трясутся. Угольные косы, толстые и тугие, покорно висят вдоль круглого, как чайное блюдце, личика.

Коля ей тоже все говорит: ты такая черненькая, может, ты узбечка? Или таджичка? А может, грузинка? А может, еврейка? Или татарка? «Я цыганка!» — однажды закричала она и шлепнула его перчаткой по губам. Как она любила целовать его губы! Его рот! Такой нежный, улыбочивый, приятный. Такой родной.

А ведь он муж чужой жены, Нина. И ты — разлучница.

И ты в Новый, 1953 год сидишь за столом у него дома, и его жена Рита ухайдакалась на кухне, и теперь свалилась без ног и спит в спальне, и рядом с ней, под тощим боком у нее, сопит сын Николая, пятилетний Сашка.

— Ниночка, я тебе салатика оливье положу?

Молчит. В сторону глядит.

— Что молчишь? Ты слышишь меня?

Нежный, теплый шепот в ухо, горячие губы у самой мочки. От губ пахнет водкой, от чисто выбритого подбородка — чуть-чуть женскими духами: «Красной Москвой».

— Слышу. Положи. Ложечку.

В хрустальной вазе — салат оливье. В другой — салат из крабов. В третьей — сырный салат. В четвертой — сельдь под шубой. Посреди стола — овальное, длинное, как корабль, блюдо, в нем мясо по-французски, с жареным луком и сыром. А вот курица, в духовке запекли, раздвинула ножки!

«Я не курица. И я перед ним ножки не раздвину. Так просто всего захотел».

Нина заставила себя улыбнуться. Улыбайся, ведь это же праздник!

Сестра Валя толкнула ее в бок локтем:

— Ты че, Нин-блин, плакать собралась?

Нина ударила ее глазами, и Валя отшатнулась и деланно засмеялась.

— Я просто так спросила. Не дуйся.

За столом, с рюмкой в руке, встает художник Володя Корбаков. Он хороший художник: пишет крестьян на телегах, бочонки и крынки, и то, как ловят раков в лесной реке, и прекрасные, самоцветные этюды у него. Отличный художник, только Крюков

— лучше! Крюков — соперник. И это тоже хорошо. У художника должен быть соперник. Иначе он умрет в ленивой пустоте всеобщих похвал.

— Товарищи! — Трудно перекричать пьяную компанию. Все веселы, орут, руками машут, горят глазами, вздрагивают губами в смехе, просьбах и улыбках! Цветные пятна нарядных платьев плывут и вспыхивают перед глазами: запоминай, художник, чтобы потом с весельем, с блеском, с мастерством — изобразить! — То-ва-ри-щи! Внимание! Товарищи, мы весьма успешно проводили старый, тыща девятьсот пятьдесят второй! И всячески его помянули!

— Вова, ты не в церкви! — на весь стол крикнул сумасшедший Марк Вороно. Марк Вороно, пациент Вали, с ее участка; немножечко полоумный, но это ничего, безобидный, не буйный. Курчавые светлые бараньи волосенки. По-дамски изогнутые губы. Валя говорит: придеешь к нему на вызов, он с температурой лежит, горло бабушкиной шалью обвязано, на табурете близ изголовья вишневая наливка, — и тетрадка на подушке: пишет стихи.

— Господи поми-и-и-илу-у-у-уй! — назло, нарочно забасил Корбаков.

И Крюков подхватил, тоненько, а ля мальчишки-певчие на клиросе, дробно рассыпал:

— Господи-помилуй-Господи-помилуй-Господи-помилу-у-уй!

У Вали брови поползли вверх на красивом лице. Она была еще красивее, чем сестра. Тоньше черты лица. Алее губы. Больше глаза. Киноактриса, да и только. Звезда. Еще немного — и Целиковская.

— Мужики, вы ненормальные! Дайте Володе тост сказать!

Гомонили. Смехом взрывались. С трудом утихали.

Вот замерли. С рюмками, бокалами, фужерами в руках.

Николай покосился налево, на Нину. Потом направо, на Валю. Две сестры, две красавицы. Живут над ними. Этажом выше. В однокомнатной квартирке. Он слышит по ночам, как они ходят. Половицы скрипят. Призывная ночная, страстная музыка чужих половиц. Сестрам не спится. Он ухаживает сразу за двумя.

Рита все знает. Молчит. Улыбается. Спит-то он с ней. С законной женой.

— Дорогие товарищи! — возвысил голос Володя Корбаков и выше поднял рюмку, и чуть наклонил, и водка чуть вылилась на

скатерть. — Мы с вами живем в счастливой стране! Войну пережили. Переплыли! Из разрухи послевоенной — выкарабкались! Поднялись! Мы все смотрим навстречу будущему! Мы все молодые, — он сглотнул, и нервно дернулся кадык под рыжей бородкой, — ребята...

Коля нашел под столом, под скатертью, Нинину руку, крепко сжал.

— И мы — счастливы! Уходящий год у каждого был... по-своему трудный... и по-своему отличный... Но я хочу сейчас сказать! — Еще выше взмыл голос, от басовых низов летя к звучному, густому баритону. — Вот вся эта роскошь, — он обвел рукой стол. — Все наше счастье! Счастье всех нас! Нашей страны! Зависит! От здоровья! — Паузу важную выждал. Выше рюмку вздел: над головой. — Вождя!

Гробовая тишина. Слышно, как безумная сонная декабрьская муха жужжит в стеклянном рожке люстры.

— И я хочу провозгласить этот тост! За — Вождя! Чтобы он — выздоровел! Он нужен нашей великой стране! Всем нам! Каждому из нас!

Все встали, держали бокалы и рюмки перед собой.

Минута молчания. Как на похоронах.

— У всех шампанское налито?! — заполошно крикнул курчавый баранчик Марк Вороно.

Рука Корбакова, высоко, как факел, держащая рюмку, мелко тряслась.

— За здоровье Вождя!

— За здоровье Иосифа Виссарионовича, — спокойно, по-царски произнесла Валя и приблизила свой бокал к рюмке Корбакова, но не достала ее — слишком высоко.

И все закричали, перебивая друг друга:

— За здоровье Сталина! Великого Сталина! Чтобы он был! Чтобы он... чтобы он!.. великого... сильного... ура... ура!

— Ура-а-а-а! — раскатил над столом священнический бас профундо Корбаков, и рюмки и тарелки зазвенели.

И все стали ударять рюмкой о рюмку, бокалом о бокал, и смеяться в лицо друг другу, и улыбаться, и отпивать из бокалов — женщины нежно и помаленьку, изящно пригубливая, а мужчины широко и вольно, разудало в глотку жгучее питье опрокидывая; и хохотать, и целоваться — в воздух, понарошку, чмокая губами,

сложенными как крылья бабочки, и по-настоящему — крепко и вкусно, и женщины пачкали яркой помадой щеки и усы и бритые подбородки мужчин и воротники мужских рубаш. И все стали искать глазами часы, а женщины подносили к глазам запястья, на наручные часики глядели, на золотые усики драгоценных живых стрелочек, и ушки к циферблату прикладывали, — стучит ли железное дареное сердечко?.. стучит!.. — и ахали, и делали круглые глаза: стрелки бегут, скоро полночь!

— Ребята, двенадцать через пять минут, — Николай выпустил Нинину руку, как задушенную птичку, под кистями скатерти, встал за столом, потянулся к непочатой бутылке шампанского — открыть. — Времени в обрез. Ставьте все бокалы в центр стола! Я быстро разолью!

Открыл бутылку артистично, виртуозно. Нина любовалась. Чувствовался опыт пирушек, застолий. Крепкой ладонью придержал пробку, пока не выскочил наружу взрывной воздух. На ладони — шрам, и мышцы уже сводит контрактура. Рана. Ранили на войне. В бок и в руку. В руку — барахтался в ледяном Баренцевом море, когда их сторожевик торпедировали. А англичане тонущих подобрали. Не всех. В бок — под Москвой. Морячков молодых туда послали, в сухопутные войска. Отовсюду срывали: и с Черноморского, и с Тихоокеанского флота, и с Северного морского пути. Все силы стянули. Столицу не отдали.

«Он мог погибнуть сто раз. А остался жив. И мы встретились». Обожгла, обласкала его черными, шмелиными глазами.

Он не видел ее откровенного взгляда: шампанское разливал. Пузыристая струя лилась в бокалы, светлая, сладкая, золотая.

— Минута осталась! Загадываем желание!

— Чтобы мне напечататься в «Новом мире»! — зычно, на всю гостиную, крикнул Сережка Викулов.

— Мне родить еще одного! — выдохнула акушерка Лена Демтьева, широкозадая, как пирамида, с лицом светлее полной Луны.

— А мне — на Вальке жениться! — завопил восторженно Мишка Волгин, офицер: и за столом в офицерской форме восседал, при полном параде.

— Дураки! — крикнул Николай. — Каждый загадывает про себя! И молчит в тряпочку!

Быстро, мгновенно разобрали, расхватили бокалы. Стояли с

бокалами в горячих пьяных руках. Новый год шел и наступал. Наступал им на пятки. Наступал им на руки, локти, лопатки; на ноги, как танцор в неумелом фокстроте. Наступал — снежным светом — им на ждущие лица.

— Радио включено?! - заорал Пашка Щепелкин.

Но уже били, били, медно звенели, рассыпались по комнате, по столу, над шторами и фужерами, над салатами и пустыми бутылками в углу, на полу, над запрокинутыми к будущему счастью лицами эти звуки, их знала вся страна, ждала и любила: куранты.

Там, далеко, через снега и леса, через реки и города, в большой и прекрасной ночной Москве, на Спасской башне, украшенной красными каменными кружевами, били, звенели колокола эти старые, - под красной самосветящейся звездой, над простынями метели, что вяжется в белые узлы и распадается на белые паутинные нити, и там, в Москве, люди, кто на Красной площади в этот момент оказался, задирали лица к черному стеклянному кругу с золотыми римскими цифрами: счастливые! живьем куранты слышат! — и по всей стране, по всем квартирам, и бедным и богатым, по всем коммуналкам, по всем баракам, по деревенским избам всем, везде люди оборачивались к радио, к черному круглому репродуктору, к маленькой коробочке, источающей волшебные звуки, — вот и здесь, в вологодской квартире Крюковых, все гости повернулись к радиоприемнику, аккуратно укрытому кружевной, с аппликацией, салфеткой, — и под эту вечную упоительную новогоднюю музыку чокались, сталкивались рюмками, бокалами, сталкивались лицами, сталкивались сердцами, сталкивались жизнями.

Хоть на час. Хоть на миг.

Хоть на время, пока бьют куранты.

— С Новым годом, ребята!

— С новым счастьем!

Счастливо блестят глаза.

А может, с новыми слезами?

Нет. Радость это. Такая радость — лишь раз в году.

А сколько новых годов в жизни?

А может, слезы — это тоже счастье?

— Эй! Друзья мои! А где Рита?

— Да, где, где, где? Где Маргарита?

— Маргарита Ивановна! Ау!